



О ЛИЧНОМ ОТНОШЕНИИ К НАУКЕ (ИНТЕРВЬЮ Ю.М. РЕЗНИКА С ПРОФЕССОРОМ А.Б. ГОФМАНОМ, МАЙ–ИЮНЬ 2009 г.)

Юрий Михайлович Резник: Уважаемый Александр Бенционович! Мы с Вами знакомы уже давно. Не раз приходилось вместе участвовать в научных конференциях, заседаниях редколлегии.

И только сейчас у нас появилась возможность встретиться для беседы лицом к лицу. Разговор пойдет о Вашем отношении к профессиональным ценностям в науке, о состоянии отечественной социологии и ситуации в социологическом сообществе.

Ю.М. Резник

О профессионализме в науке

Ю.М. Резник: В одном из словарей я прочитал, что профессионализм — это высокая степень овладения какой-либо профессией, характеризующая мастерством и компетентностью в избранной сфере деятельности. Как бы Вы определили профессионализм?

А.Б. Гофман: Эта дефиниция мне представляется в общем вполне удовлетворительной. В то же время, я думаю, не следует придавать ей, как и любой другой, слишком большого значения и стремиться через нее уловить сущность определяемого явления. Определения — это главным образом ориентиры, и их назначение скорее инструментальное. Как говорил Декарт, о терминах не спорят, о терминах договариваются.

Ю.М.: Что для Вас означает быть профессионалом в науке? Какие требования предъявляются сегодня к профессиональным ученым?

А.Б.: С моей точки зрения, быть профессионалом в науке — это прежде всего придавать научной деятельности первостепенное значение в своей жизни и подчинять ей все другие занятия. Она требует полной сосредоточенности на предмете исследования и на себе в целом. Этим профессионализм в науке близок некоторым другим сферам, требующим полной самоотдачи, например таким, как искусство или религия. Этим же он отличается от других областей, таких, скажем, как сантехника, перевозка мебели или уборка мусора. В последних областях можно быть прекрасным профессионалом, не рассматривая свою профессию как всепоглощающее дело жизни. Впрочем, любая профессия может становиться делом жизни, подобным науке и искусству. Скажем, кулинария может быть просто средством заработать на жизнь, а может становиться высоким искусством, захватывающим человека целиком. То же самое относится и к упомянутой уборке мусора, одной из важнейших проблем цивилизации, с которой наше общество, скажем прямо, пока справляется плохо.

Наукой, если только это наука, а не что-то иное, невозможно заниматься между прочим, в свободное от работы время, так как она сама представляет собой не досуг («а не заняться ли мне наукой?»), а работу, требующую величайшего напряжения и сосре-

доточенности. Между тем именно такого рода попытки занятия «наукой» мы сегодня нередко наблюдаем. Большинство аспирантов работают в самых разных областях помимо науки, что, на мой взгляд, чаще всего плохо сказывается на результатах. Уровень многих диссертаций по социологии весьма низок с профессиональной точки зрения. Я уж не говорю о существующем в нашей стране «рынке диссертационных услуг», который отсутствует в странах с настоящей, нормальной рыночной экономикой.

Поэтому многие обладатели ученых степеней на самом деле не профессионалы в науке, а «любители» в самом скверном смысле этого слова. Кроме того, в связи с медиатизацией, усилением роли СМИ в современном обществе, нередко в роли профессионалов выступают «как бы» социологи, «как бы» политологи и т.п., специалисты по всем вопросам, которые с профессиональной точки зрения мало что значат, зато постоянно фигурируют в СМИ. Получается порочный круг: журналисты нередко представляют того или иного автора или выступающего как «известного» социолога (политолога и т.п.), но на самом деле именно они, собственно, и сделали его известным, и известность эта не научная. По сути, они под видом профессионала в какой-то области науки представляют своего же коллегу журналиста (может быть, с ученой степенью), который смело высказывается по любым вопросам независимо от степени своей компетентности.

Прошу меня правильно понять: я не против того, чтобы социальные ученые присутствовали в СМИ. Наоборот, я считаю, что они должны активно выступать в них, пропагандируя научное знание, высказываясь по различным вопросам, участвуя в публичных дискуссиях и т.п., — в общем, должны обращаться в первую очередь не к начальству, а к публике, общественности, способствуя тем самым ее формированию и развитию. Но это должны быть именно профессионалы, представляющие научное знание, а не публицисты-гладиаторы, с пеной у рта отстаивающие какие-то «позиции» под видом научных. К сожалению, именно последний жанр политических ристалищ мы сегодня чаще всего видим на телеэкране. Очевидно, что в такого рода спорах истина вообще и научная в частности не рождается, да, собственно, она здесь никого и не интересует: люди отстаивают «позиции», а не ищут истину. Правда, существует немало таких псевдопрофессионалов, которые отсутствуют не только в своей профессии, но и в СМИ, но это, пожалуй, их единственное профдостоинство.

Но я, кажется, отвлекся. Одним из основных качеств современного профессионала, на мой взгляд (и здесь я резюмирую сказанное только что), является признание научного познания в качестве главной ценности своей жизни и деятельности, независимо от всех и всяческих его применений и приложений. Если человек не способен испытать радость от добытой им пусть маленькой, но истины или от полученного нового знания, то это не ученый и не профессионал. Сегодня, в эпоху, когда наука понимается как занятие сугубо утилитарное, это качество особенно редкое и одновременно особенно важное и нужное. Об этом очень хорошо сказал в свое время Макс Вебер в своей знаменитой лекции «Наука как призвание и профессия».

При этом хочу подчеркнуть, что очень часто декларируемая и обещаемая практическая польза определенных исследований (и в естественных, и в социальных, и в гуманитарных науках) оказывается минимальной или ничтожной; более того, они могут иметь отрицательный эффект. Известно, что печально известный (извините за нечаянный каламбур) Лысенко обещал в результате своих исследований небывалые урожаи и колоссальную пользу народному хозяйству, на что запрашивал гро-

мадные средства. Средства эти ему давали, но какова была реальная польза его работ, тоже хорошо известно. И наоборот, вроде бы совершенно бесполезные исследования могут приносить громадную практическую пользу. История науки знает массу примеров подобного рода. Перефразируя поэта, можно сказать: «Нам не дано предугадать, как исследование наше отзовется». Когда Генриха Герца спросили, какую пользу может принести открытие им электромагнитных волн, он ответил, что скорее всего никакой. Между тем именно на этом открытии базируются такие практические области, как электротехника, радиотехника и многое другое. Поэтому нередко фундаментальные исследования или, точнее, исследования, направленные на поиск истины как таковой, являются действительно прикладными, а прикладные на самом деле далеко не всегда к чему-то прикладываются, что бы ни говорили их пропагандисты или промоутеры, запрашивающие на них средства.

Еще одно качество современного профессионала – специализация, о чем также убедительно говорил Вебер. В мире действует великий закон разделения труда, и к науке он применим в полной мере. Это не значит, что профессионалу необходимо всю жизнь «сидеть» в одной теме, отрасли или проблемной области науки: менять их иногда в высшей степени полезно, да и сами эти сферы могут быть достаточно обширными. И все же в целом профессионалом может считаться лишь тот, кто занимается не социологией вообще, а какой-то ее областью. При этом мне представляется ошибочной точка зрения Альфреда Шюца, согласно которой деятельность ученого сегодня тождественна и сводится к деятельности эксперта. Профессионал и эксперт – не одно и то же, а экспертная деятельность в современную эпоху – лишь часть профессиональной научной деятельности.

Ю.М.: В какой мере в социальной науке полезны дилетанты? Ведь если следовать переводу «дилетанта» с итальянского «dilettante», что означает «любитель», т.е. человек, занимающийся наукой или искусством без специальной подготовки, то ничего отрицательного в этом понятии нет. По этому признаку в отечественной социологии оказывается практическое большинство дилетантов. Не так ли?

А.Б.: Если критерием профессионала считать наличие соответствующего диплома, то лет двадцать назад у нас действительно большинство социологов были дилетантами. Но сегодня положение уже изменилось: существует довольно значительное число социологов с дипломом социолога, и в этом смысле дилетантов стало гораздо меньше. Если же использовать содержательные критерии, то картина неоднозначная. В стране появилось немало хороших исследовательских центров и профессиональных социологов, особенно вне столиц – Москвы и Питера. Средний профессиональный уровень стал выше. Соответственно, дилетантов и в содержательном смысле стало меньше. Другое дело, что уровень образования в социологии, как, впрочем, и в ряде других дисциплин, на мой взгляд, в целом довольно низок. Не буду останавливаться на причинах: они в общем более или менее очевидны. Достаточно отметить огромное число вузов в стране: в 1985 г. во всем СССР насчитывалось 502 вуза, а сегодня только в России – 1100 вузов. В принципе это могло бы быть и неплохо, в конце концов, образование, в том числе высшее, – само по себе ценность, а не только формирование специалиста в определенной области. Но в том-то и дело, что это часто псевдообразование, а ряд вузов – фабрики по производству дипломированных неучей. При этом складывается ненормальная ситуация, когда не студенты конкурируют за место в университете, а университеты конкурируют за

студентов. Часто студенты, как платные, так и бюджетные, не ценят свое место, не воспринимают учебу как напряженный труд, а образовательные «услуги» нередко рассматриваются как подобие услуг парикмахера или массажиста: «Профессор, избразите мне что-нибудь веселенькое, а я послушаю».

В результате в сфере образования отсутствует естественный отбор, университеты и преподаватели неуклонно снижают уровень требований, боясь прослыть «строгими», отпугнуть будущих и нынешних студентов, а вместе с ними потерять их деньги. «Добрый» преподавателем сегодня быть довольно выгодно, хотя бы потому, что это требует меньших трудозатрат и компетентности. Мотивация на получение реального образования нередко вытесняется другой, направленной на получение диплома. Поэтому мы нередко получаем дилетантов с университетским дипломом.

В понятии «дилетант», на мой взгляд, действительно нет ничего отрицательного. Но при трех условиях. Первое – если дилетант не выдает себя за профессионала, не будучи им. Второе – если им движут те же мотивы, что и настоящим профессионалом, т.е. любовь к тому, чем он занимается в качестве любителя; заметьте наличие общего корня и очевидную этимологическую близость в словах «любовь» и «любитель», которые семантически разошлись между собой (сравните также французские слова «*amouir*» и «*amateur*»). И третье – если «формальный» дилетант, не имеющий соответствующего диплома о профессиональной подготовке, путем самообразования достиг определенного профессионального уровня или превзошел его. В последнем случае он, собственно, перестает быть дилетантом и превращается в профессионала, возможно даже высочайшего класса. У академика Я.Б. Зельдовича не было формального законченного высшего образования, но он стал выдающимся физиком. Герберт Спенсер также «университетов не кончал» и в этом смысле был дилетантом, но это не помешало ему внести выдающийся вклад в становление профессиональной, а не дилетантской социологии. Можно, конечно, вспомнить также классический пример знаменитого дилетанта в археологии Генриха Шлимана, который, с одной стороны, будучи романтиком и энтузиастом, сделал то, чего до него не сделали археологи-профессионалы-скептики, с другой – нанес ущерб археологии, поскольку, совершив ряд ошибок в процессе раскопок, закрыл возможность адекватной интерпретации археологических данных в дальнейшем.

Если же вернуться к современной российской социологии, то, конечно, хотелось бы, чтобы дилетантов было поменьше, а профессионалов – побольше. Но основная опасность состоит, на мой взгляд, не в дилетантизме как таковом, а в размытости критериев профессионализма в нашей социологии, а отсюда – тот факт, что нередко непрофессионалы (не знаю, можно ли назвать их дилетантами) играют роль профессионалов и научное сообщество признает это нормальным, поскольку институционально-властные позиции этих «как бы профессионалов» в нем довольно сильны.

Ю.М.: *Каков Ваш идеал профессионала в социологии? Кого из представителей отечественной и зарубежной социологии Вы считаете образцом профессионального отношения к науке?*

А.Б. Идеал или, точнее, идеалы профессионала в социологии для меня представлены ее классиками. Это тот редкий случай, когда идеал – не в будущем, а в прошлом. Его явное преимущество в том, что он уже реализован, его можно видеть, ему можно следовать, на нем можно учиться, тогда как идеал будущего профессионала либо еще не существует, либо существует только как некое пожелание, призыв или мечта. Что

касается нынешних идеалов или тех, кто нам сегодня представляется таковыми, то здесь далеко не все очевидно, и многие сегодняшние авторитеты или кумиры, как показывает исторический опыт, несомненно, окажутся лишь незначительным эпизодом в истории науки. Уверен, что потомки, пусть не сразу, во всем разберутся.

Опять-таки, прошу меня правильно понять. Дело не в том, что сам я много занимался и занимаюсь исследованием некоторых теорий и направлений классической социологии. Я не призываю повторять классиков и никоим образом не пытаюсь проповедовать традиционализм в науке. Наука, не ориентированная на получение нового знания, на творчество, на оспаривание прошлого и даже разрыв с ним, — это нонсенс. Она инновационна и антитрадиционна по самой своей сути, даже тогда, когда неизбежно опирается на какие-то научные традиции и достижения прошлого. Это роднит ее с искусством, которое мы часто ей противопоставляем. Я хочу лишь подчеркнуть, что классики представляют собой результат, пусть и не вечный и не окончательный, своего рода естественного отбора в сфере идей, и в этом смысле классики — профессионалы высшего класса (извините опять за каламбур). Мне представляются односторонними или ошибочными модные сегодня подходы, которые за развитием идей всегда стремятся увидеть влияние власти, внутривидовой или внепрофессиональной (политической и прочей). Корни таких теорий чаще всего находятся в идейных биографиях самих их авторов и в значительной мере объясняются ими. Саморазвитие и автономия научного знания и поисков истины им представляются чем-то вроде «ложного сознания», фантома, который, вслед за Марксом, они очередной раз хотят «разоблачить». Я полагаю, что такие взгляды в большой мере являются проекцией собственных представлений этих теоретиков на историю науки; соответственно, чтобы понять их, следует подвергнуть «разоблачительному» анализу эти представления.

Из предыдущего, видимо, уже становится ясным, кого в социологии я считаю «образцом профессионального отношения к науке». Для меня такой образец означает, прежде всего и помимо прочего, то, что в науке, выражаясь словами того же Макса Вебера, нет места никакой добродетели, кроме одной: простой интеллектуальной честности. В этом с ним, безусловно, были солидарны и Дюркгейм, и многие другие. И не надо говорить, что это невозможно, доказывать, что у самих классиков с этим было не все в порядке, и т.п. Такого рода утверждения разоблачают лишь самих разоблачителей. В связи с этим, перечисление конкретных имен здесь, мне кажется, ничего не даст, так как этот список, с одной стороны, ограничен, с другой — достаточно обширен, так что неизбежному упоминанию кого-то может быть приписано особое значение, чего бы я не хотел.

Среди учителей, которые особенно сильно, непосредственно и лично повлияли на мое отношение к науке как профессии и которые продолжают быть для меня учителями и сегодня, хотел бы назвать Эльмара Владимировича Соколова, Игоря Семеновича Кона и Юрия Александровича Леваду. Сам процесс общения с ними был для меня прекрасной школой, я учился у них даже тогда, когда они специально ничему меня не учили, и эта школа всегда со мной, или, иначе говоря, я всегда в ней. Вообще, мне с учителями всегда, начиная с детства, очень везло, за что, конечно, я безмерно благодарен судьбе.

Ю.М.: Александр Бенционович, Вас я отношу к профессиональным социологам. Вы хорошо знаете традиции в социологической науке, имеете свой стиль теоретизирова-

ния, прекрасно излагаете свою научную позицию. Но чего Вам не хватает в профессиональном плане? Какие недостатки Вы бы хотели в себе преодолеть?

А.Б.: Спасибо большое за эту оценку. Что касается моих профессиональных недостатков, которых, безусловно, много и которые мне хотелось и хочется преодолеть, то я, с Вашего позволения, о них высказываться не буду, как, впрочем, и о моих достоинствах. Опять-таки, потомки, если им это будет интересно, сами во всем разберутся, и помогать им в этом я не могу и не хочу. Собственно, моя профессиональная деятельность в определенной мере в том и состоит, чтобы, добиваясь какого-то результата, заодно преодолевать или хотя бы минимизировать соответствующие недостатки.

Ю.М.: В какой области социологии Вы считаете себя дилетантом? Ведь в латинском языке имеется и другое определение дилетантизма (от лат. «*delecto*» — наслаждаю, забавляю) — занятие какой-либо областью науки или искусства для собственного удовольствия или забавы других. Я знаю, что Вы любите читать частушки, рассказывать анекдоты. Чем Вы еще себя и других развлекаете в свободное время на социологическом поприще?

А.Б.: Я считаю себя дилетантом в тех областях социологии, которыми не занимаюсь специально. Теми же, которыми занимаюсь, я по мере своих сил и возможностей стараюсь заниматься профессионально. На социологическом поприще я дважды выступил в жанре иронии, рассматривая ее не просто как способ рассмешить, а как настоящий метод социологического исследования, как эффективное средство получения нового знания. В этом жанре в конце 1980-х гг. я опубликовал два этюда: один, озаглавленный «Похвала очереди, или О социальных функциях упорядоченного ожидания потребительских благ», опубликованный сначала в сокращенном виде в «Литературной газете», затем переизданный, в частности, в моей книге «Классическое и современное» (2003); второй — «О необычайном расцвете одного социального института: всеобщее воспитательное право», также переизданный в упомянутой книге. Иногда я читаю их своим студентам, подчеркивая, что в данном случае речь идет о социологии в самом прямом смысле слова. И хотя со времени написания этих этюдов прошло больше двадцати лет, они по-прежнему находят у слушателей живой отклик и вызывают смех. Интересно, что в процессе написания я сам смеялся над своим только что рожденным текстом. Надо сказать, что написал я эти этюды в далеко не радостные периоды своей жизни, когда мне было совсем не до смеха. Размышляя впоследствии о том, почему так произошло, я пришел к выводу, что это была своего рода попытка развеселить самого себя, собственными силами преодолеть тоскливое настроение и печаль. Я понял также *post festum*, что эти небольшие тексты написаны в том же примерно жанре иронической социологии, что и «Законы Паркинсона» или «Принцип Питера».

Ю.М.: Как известно, профессиональный ученый помимо всего прочего обладает острым чутьем на других профессионалов, окружая себя со временем подобными себе и близкими по духу людьми. Кто входит в Вашу референтную группу среди современных социологов? С кем Вы находитесь сегодня в приятельских и дружеских связях? И кого Вы бы хотели пригласить в свой круг общения?

А.Б.: Большинство моих друзей одновременно являются моими коллегами. Это, в общем, не удивительно, учитывая, что наука — это не просто способ заработать на жизнь, а особый образ жизни. Так же происходит, например, у художников, музыкантов или драматических артистов. Кстати, это относится и к моим иностранным

друзьям, с которыми мы сблизились на почве общих профессиональных интересов, вышедших за формально-профессиональные рамки. На последний вопрос мне ответить не так-то просто в силу разных причин. Я бы хотел, например, пригласить в свой круг общения Монтеские, так как чувствую внутреннее духовное родство с этим человеком и испытываю к нему глубокую симпатию, но, к сожалению, это невозможно.

Ю.М.: Александр Бенционович! Мы знаем, что у профессионала необычайно развито чувство собственного достоинства и он стремится к личностной и социальной автономии, дистанцируясь невольно от центров власти и влияния. Удастся ли Вам сохранять свое достоинство и не участвовать в акциях, направленных против других профессиональных исследователей, находясь в нашем сложном, во многом традиционном и иерархически устроенном научном сообществе?

А.Б.: Я специально никогда не стремился ни сблизиться с центрами власти и влияния, ни дистанцироваться от них. Но и эти центры в свою очередь не проявляли ко мне особого интереса и внимания. Так что в данном случае имели место своего рода взаимопонимание и гармония. Я никогда не был членом партии, регулярно побеждавшей несуществующих противников на выборах в СССР, но и эта партия со своей стороны никогда не предлагала мне пополнить или усилить ее ряды моей скромной персоной, очевидно справедливо полагая, что обойдется и без моего членства. Будучи убежденным приверженцем идеи автономии и самооценности научного познания, я всегда стремился заниматься тем, что мне представлялось важным и интересным с научной точки зрения.

Ю.М.: Вы – известный социолог, имеющий имя и авторитет в науке. Но Ваш авторитет не связан с научными званиями и регалиями. Вы также не входите в круг избранных – членов РАН. Что Вы думаете о судьбе профессионалов в современной российской социологии? Удастся ли им сохранить свой научный этос и отстоять свое право заниматься любимым делом с учетом имеющегося формально-бюрократического давления и вмешательства чиновников от науки?

А.Б.: Надеюсь, что мое имя в науке не основано на званиях и регалиях, но при этом оно все-таки связано с некоторыми из них. Ведь я защищал диссертации, оформлял документы на звание профессора и т.п., и делал я это совершенно добровольно, никто меня, разумеется, не заставлял. Вообще, имя и авторитет в науке, как правило, относительно независимы от званий и регалий. У меня есть коллеги, друзья, которые, будучи очень серьезными учеными, в силу каких-то личных особенностей, иногда непонятных, даже мистических причин, не защищали и не защищают диссертаций. Бывает, что у человека вообще нет никаких титулов, а он – выдающийся ученый. Например, Марсель Мосс, творчеством которого я специально занимался и занимаюсь, – выдающийся ученый, оказавший громадное влияние на мировую социальную науку, – не написал ни одной книги и не защитил ни одной диссертации. У него были какие-то звания, но при этом он не имел докторской степени. (Кстати, с 13 по 20 июня в Серизи-ля-Салль, Франция, состоится международная конференция «Живой Мосс», в которой я собираюсь участвовать).

Тем не менее я думаю, что степени и звания в науке необходимы. Это своего рода метки, опознавательные знаки, позволяющие широкой публике и, отчасти, тем, кто распределяет ресурсы и вознаграждения, с помощью стереотипных эталонов быстро оценивать их носителей и принимать в отношении них соответствующие решения. Так происходит с любыми званиями, будь то слесарь четвертого разряда,

полковник, народный артист или художник, заслуженный деятель искусств или заслуженный мастер спорта. В конце концов, в условиях нынешних больших обществ и массовых коммуникаций невозможно каждый раз пространно объяснять всем и каждому, кто есть кто в профессии и каков его статус в ней. Тем более если речь идет о том, чтобы представляться самому. Но эти ориентиры все же стереотипны и адресованы широким профессиональным и непрофессиональным массам, в которых все не могут знать всех лично, так же как и то, что ими сделано. Как и любые стереотипы, они могут исказить действительность и вводить в заблуждение. Внутри мелких профессиональных сообществ специалисты отлично знают, кто чего стоит и чего стоят те или иные звания и их носители. Но для широкой публики и даже большого профессионального сообщества, особенно находящегося на относительно невысоком уровне развития, звания играют важную роль, особенно в узкоспециализированных областях, требующих специальной подготовки.

В искусстве, адресованном широкой публике, роль званий и регалий менее значительна, так как там все на виду: вы можете сколько угодно звать людей в театр, кино или на концерт, апеллируя к тому, что там будут выступать народные и заслуженные артисты, но публика будет руководствоваться другими критериями, пусть нередко тоже внушенными извне, но другими. Хотя и в искусстве роль квалификации потребителя нередко играет важную роль. В науке же в целом дело обстоит иначе. Даже образованному человеку трудно разобраться, да и некогда разбираться, в чем состоит вклад того или иного ученого; в своей оценке ему приходится доверять тому, что у этого ученого есть некое звание, дипломы и т.п. Ну а для того, чтобы разобраться в том, что стоит за этим званием, требуется специальный интерес, специальная подготовка, усилия и, конечно, время. Опять-таки, потому что во всем разберутся, как бы предки (нынешние современники) ни пытались их запутать. Кому сегодня интересно, что Монтескье был членом Французской академии: мы его ценим не за это, это членство, собственно, ничего ему не добавляет в нашем представлении о нем, и без этого оно было бы точно таким же. Более того, возможно, мы были бы о нем лучшего мнения: ведь известно, что он добивался звания академика из вполне тщеславных побуждений. С другой стороны, и в его время, и в другие времена было множество академиков, вклад которых в науку был ничтожным и о которых в науке никто не вспоминает.

Конечно, среди академиков нередко встречаются и серьезные ученые. Но в разных странах укоренилось довольно скептическое или ироническое отношение к «бесмертным». Если вернуться к социологии, то, насколько я знаю, во Франции, например, можно назвать лишь одного социолога-академика — это Раймон Будон. Другие же видные французские социологи, имея какие-то звания, в академии не состояли и не состоят.

Так же и у нас. Большинство подлинных корифеев российской социологии не были и не являются членами РАН. Мой учитель Игорь Семенович Кон — член РАО, но, уверяю Вас, это никак не влияет на мое отношение к нему, так же, по-моему, как и всех тех, кто знаком с ним и его творчеством. Ну а для тех, кто не знаком, это может что-то значить. Но человек более или менее здравомыслящий и неглупый всегда понимает, что за званиями и регалиями, в том числе научными, могут скрываться как реальные, так и мнимые достоинства и заслуги. К сожалению, звания и репутация, мягко выражаясь, совпадают далеко не всегда, а зачастую расходятся весьма

значительно. Поэтому при жизни человека его могут энергично хвалить, а после смерти — быстро забыть и подвергать поношению (или наоборот). Для нашей страны эта ситуация была и остается особенно актуальной.

Впрочем, не надо забывать и о материальном интересе, часто толкающем людей к тому, чтобы усиленно добиваться академических званий. Не будем осуждать их за это: человек слаб не только в отношении тщеславия, да и финансовое положение наших ученых известно какое. Как говорил один мой знакомый, член одной из российских академий: «Конечно, положи руку на сердце, академию надо было бы закрыть; но, положи руку в карман, этого бы не хотелось».

Известно, что потребность в признании — одна из фундаментальных потребностей человека. Официальные звания необходимы как форма признания обществом или, точнее, государством тех или иных достижений и заслуг. Но *сегодняшнее* признание *сегодняшнего* государства — это еще не признание в целом и навсегда. Оглянемся в прошлое, даже совсем недавнее: многие бывшие авторитеты в социальных науках, признанные и обласканные государством, уже испарились. Кроме того, государство как таковое — это абстракция: его всегда представляют конкретные люди и группы, т.е. сегодняшние чиновники, бюрократы. Этим объясняется значительное количество государственных наград и званий именно в этой категории. Поэтому, повторяю, признание государства важно и нужно, но это еще не все. Главное — признание общества в самом широком смысле слова, особенно в ситуациях, когда государство не находится под контролем общества. Под «обществом» я имею в виду самые разные формы взаимодействия и совместной жизнедеятельности людей, включая, конечно, в первую очередь профессиональные объединения (негосударственные) в собственном смысле слова.

Вмешательство бюрократов в сферу науки, о котором Вы говорите, — частный случай такого вмешательства во все стороны нашей жизни. Это традиционный для нашей страны феномен, который в свою очередь порождается сверхэтатизацией всего и вся, когда не государство контролируется обществом, а общество — государством, причем фактически совершенно произвольно (всякого рода декорации, демонстрирующие обратное, особого значения не имеют). Отсюда вечный характер «борьбы с бюрократизмом», а заодно и «борьбы с коррупцией». Чем больше с ними «борются», тем больше их становится: ведь те, с кем борются, и те, кто борется, — это одни и те же люди, группы и институты. Так было и в досоветском, и в советском обществе, так происходит и теперь. В этом отношении нам всегда будет чем заняться. И не надо говорить, что бюрократизм и коррупция есть везде, что есть «хороший» бюрократизм и т.п. Это, как говорится, «Федот, да не тот».

Здесь не место обсуждать специально тему влияния бюрократии на науку. И все-таки, несмотря на сказанное, я хотел бы завершить ответ на этот вопрос в довольно оптимистическом духе: по моим ощущениям, «формально-бюрократического давления и вмешательства чиновников от науки» в последние два десятилетия стало меньше, чем было при советской власти. Что будет дальше — посмотрим, страна по-прежнему на распутье.

Ю.М.: *Что же все-таки делать с нашей бюрократией в науке?*

А.Б.: По-моему, то же, что с бюрократией во всех других сферах, потому что это частный случай бюрократического произвола в России, причем в последние десять лет эта традиция получила новый импульс. Все жалуются, страдают от бюрократиз-

ма, но при этом постоянно говорят, что государство должно все делать. Но государство представляют чиновники, бюрократы. Они и берутся за все, при этом ни за что и ни перед кем не отвечая (вышестоящие бюрократы не в счет, так как здесь действует внутрикорпоративная бюрократическая солидарность), и это все делают плохо. Государство же, роль и ответственность которого действительно очень велики, должно сосредоточиться на некоторых ключевых вопросах, создавать правила игры и контролировать их выполнение. И коррупция, как и бюрократизм, — следствие плохого менеджмента, а плохой менеджмент — это российская бюрократия.

Ю.М.: *То есть Вы не против менеджмента в науке?*

А.Б.: Я против плохого менеджмента не только в науке, но и везде. Без менеджмента современная жизнь невозможна, как и без бюрократии. Но при этом он должен быть не таким, как наш теперешний: самодовлеющим, бесконтрольным, не зависящим от тех, кем этот менеджмент руководит. Ну а средства против бюрократизма, как и против коррупции и клиентелизма (все эти явления обычно идут рука об руку), давно известны: это демократия и свобода, неотделимая от ответственности. О демократии у нас часто говорят как о некоем красивом идеале, до которого мы, может быть, дозреем лет через пятьсот. Но это суровая необходимость сегодняшнего дня: без нее вместе с вырождением менеджмента вырождается и общество. И не надо далеко ходить за доказательствами, наш исторический опыт это доказывает лучше всего.

О личном, профессиональном и творческом

Ю.М.: *Александр Бенционович, а от чего в жизни Вы получаете больше всего удовольствия?*

А.Б.: Всего не перечислишь. Скажу только, что определенно получаю удовольствие как от общения, так и от уединения. Потому что иногда я устаю от чрезмерного общения, а иногда от чрезмерного одиночества. В первом случае я начинаю особенно высоко ценить одиночество (как пел французский певец и актер Жак Брель, «я не одинок со своим одиночеством» («je ne suis pas seul avec ma solitude»). Во втором, соответственно, — общение. Вероятно, так бывает с большинством людей.

Ю.М.: *А чем себя балуете?*

А.Б.: Мне много чего нравится в этой жизни. Но главное, чем я себя балую, — это, по-видимому, работа. Мне повезло в том отношении, что для меня работа — это и досуг, и хобби. Так, мне кажется, бывает с людьми, которым повезло в жизни в том смысле, что они профессионально занимаются тем, что они любят или что им нравится, для которых работа — это не только средство заработать. Не все могут себе это позволить, многие вынуждены, и это вполне нормально, действовать по английской поговорке: «Если не можешь делать то, что тебе нравится, пусть тебе нравится то, что ты делаешь». Вообще, такая ситуация, когда человек «балует себя» работой, обычно встречается у людей творческих профессий. К числу таких профессий относится и наука, хотя и не целиком, поскольку мы знаем, что уже во времена Макса Вебера наука, по его словам, стала превращаться в занятие в значительной мере техническое. Тем не менее, по моему глубокому убеждению, творческий элемент в научной деятельности, безусловно, остается, и без него она не может считаться научной.

Ю.М.: *По поводу творчества. Каково соотношение в Вашей деятельности творчества и рутины?*

А.Б.: Рутины гораздо больше, чем хотелось бы. Кроме того, я преподаю и занимаюсь многими делами, которые имеют отношение к науке, но косвенное. Конечно, мне бы хотелось больше заниматься тем, что непосредственно ее касается. Точное соотношение творчества и рутины я, пожалуй, назвать не смогу, но, очевидно, сегодня это не та пропорция, которой бы мне хотелось. Кроме того, помимо «рутины», в научной деятельности существует и множество иных элементов, которые собственно творчеством не назовешь, например неизбежные организационные дела, редактирование, деловые встречи, поиск информации и т.п. При этом хотел бы отметить следующее. Что такое «чистое творчество», или творчество «в собственном смысле», очищенное от «рутины» и т.п.? Боюсь, что если мы начнем «очищать» научную деятельность от всякой рутины, от всего лишнего, с тем чтобы выделить в ней чисто творческий элемент, то останется лишь одна расслабленная и рассеянная рефлексия или созерцание. Тогда никакого научного исследования не получится. Ученого нельзя представлять себе человеком, лежащим на диване и просто придумывающим что-нибудь новенькое, чего до него никто не знал. Ведь как он может узнать, что новое знание — действительно новое? Для этого ему нужно основательно изучить, что уже сделано в интересующей его области до него. Без этого никакое творчество невозможно, и человек будет, что называется, ломиться в открытую дверь или обнаруживать давно известные истины, даже не зная, что они давно известны.

Наука — это прежде всего напряженное усилие, поиск, направленный на постижение истины. Творчество появляется как элемент и результат этого усилия и поиска. Возьмем музыканта, который каждый день играет одни и те же гаммы, отработывая и совершенствуя технику игры. Мы же понимаем, что музыкант-исполнитель — это творческая профессия, но если он не будет каждый день одно и то же играть и повторять, если убрать этот «нетворческий» элемент, то от этой творческой профессии ничего не останется. Или возьмем труд драматического актера, который заведомо и обоснованно считается творческим. Играя, скажем, Гамлета, он вынужден заучивать эту роль наизусть, запоминать ее, т.е. заниматься вроде бы нетворческим делом, а потом еще в течение длительного времени выходить каждый вечер на сцену и повторять: «Быть или не быть?» Он не может себе позволить даже вариаций на эту тему, например «Жить или не жить?», «Стоит ли существовать?», «Как быть?», «Кем быть?» и т.п. Творчество здесь возникает как результат и элемент реализации определенных задач, в которых «собственно» творческий и рутинный элементы друг без друга не существуют: это части единого целого.

Ю.М.: У Николая Бердяева есть работа «Смысл творчества». Вот для Вас в чем состоит смысл творчества?

А.Б.: Полагаю, что это в значительной мере индивидуально, и смысл моего творчества отличается от смысла творчества моих коллег. Я теоретик, может быть, даже «неизлечимый теоретик», как сказал о себе Толкотт Парсонс. Этот жанр мне представляется важным и почетным, без него невозможно представить себе серьезную социологию. Один коллега-приятель однажды сказал мне, что я отношусь к категории теоретиков-архитекторов, разрабатывающих теорию, подобно архитектурному проекту. Возможно, он прав. При этом, в отличие от некоторых коллег-теоретиков, я не стремлюсь проектировать тотальные теоретические конструкции, призванные разом пересмотреть и радикально обновить всю теоретическую социологию. Такие проекты в социологической теории и метафизике разрабатываются постоянно, сме-

няя друг друга или сосуществуя в течение некоторого времени. Мои теоретические (если угодно, «архитектурные») проекты носят относительно частный и предметный характер. С одной стороны, это именно теории или концепции, отличные от концептуализаций *ad hoc*, привлекаемых для решения какой-то отдельной научной проблемы. С другой – это не только теории по поводу теории, ее познавательных средств, возможностей и т.п. Это социологические теории определенных сфер социальной реальности. Можно их назвать, в соответствии с принятой терминологией, теориями среднего уровня, хотя этот средний уровень может быть достаточно общим. Я стремлюсь создавать теорию определенного объекта, такую, чтобы она достаточно адекватно его описывала, объясняла и предсказывала, чтобы она могла служить опорой для эмпирических исследований (давать концептуальные основания, способствовать формулированию исходных допущений и гипотез и т.п.) и средством получения нового знания о нем. Это теоретическое, концептуальное знание, так или иначе опирающееся на предыдущие разработки (сюда входит и их критика, и переосмысление). Вместе с тем я стараюсь не отрываться от «матушки-земли», используя результаты и факты, взятые из различных научных дисциплин, будь то социология, историческая наука, этнология или семиотика. Я понимаю, что может прийти метатеоретик или социолог-метафизик, который подвергнет анализу метатеоретические основания моих теоретических разработок и поставит их под вопрос. Я не против. Но сам я стараюсь этим не очень увлекаться, чтобы избежать известного эффекта сороконожки.

Я полагаю, что такого рода теории сейчас особенно важны в социологии. Нередко дорогостоящие эмпирические исследования, использующие разнообразные и тонкие методы, в действительности дают нулевые результаты или заведомо ложное знание только потому, что базируются на ошибочных, туманных или теоретически не проработанных исходных допущениях. Один наш известный и уважаемый социолог как-то в полемике со мной сказал по подобному поводу: «Ну подумаешь, какая разница, какие термины мы будем использовать в исследовании, можно назвать эти явления как угодно, это ведь только слова». Но в том-то и дело, что слова и комбинации слов, которые мы используем уже в самом начале эмпирического исследования и на всем его протяжении, имеют определяющее значение: если изначально они не те, что нужно, то результаты исследования можно смело выбрасывать в мусорную корзину. За «словами» стоят определенные понятия, идеи и представления, и, если речь идет о науке, мы не можем позволить себе как-нибудь, небрежно или произвольно манипулировать ими. Как говорил Эжен Ионеско, «важны только слова, все остальное – болтовня».

Другая важнейшая сфера моих творческих интересов – это история социологической мысли и, шире, социальных идей. Я историк по образованию, и меня всегда интересовало то, как зарождаются те или иные идеи; как они сочетаются между собой, взаимодействуют, влияют друг на друга, сталкиваются или конфликтуют между собой; как они видоизменяются и путешествуют; как они создаются людьми, «живут» в них и вне их; как воздействуют на них и т.д. В изучении такого рода вопросов творчество носит, на мой взгляд, очень разнообразный характер. Очевидно, что важнейшее значение здесь имеет исследование парадигм, больших направлений и школ, классических фигур и т.п., их интерпретации и реконструкции, т.е. того, что называется фундаментальными, принципиальными темами и проблемами. Но внутри и

в ходе таких «больших» исследований историка может ждать немало «маленьких» открытий и сюрпризов, которые способны доставлять немалое наслаждение исследователю. Мне довелось испытывать такого рода наслаждение. Например, в американских трудах по истории социологии, а вслед за ними и в российских, принято утверждать, что понятие «этноцентризм» было введено в научный оборот американским социологом Уильямом Самнером в его классическом труде «Народные обычаи» (1906). Но ваш покорный слуга обнаружил и обнародовал в 1979 г., а затем и в многократных переизданиях книжки «Семь лекций по истории социологии», что в действительности это понятие за двадцать лет до Самнера ввел известный австрийский социолог Людвиг Гумплович в книге «Расовая борьба», причем не просто использовал мимоходом, а дал развернутое определение и интерпретацию, выделив синхронный и диахронный аспекты этого явления, связав его с идеей прогресса и представлением о том, что нынешние общества выше предыдущих. Подумаешь, скажет кто-то, это что — решение какой-нибудь серьезной, крупной научной проблемы? И вообще, какая разница, кто, когда, где и что внедрил, особенно когда речь идет о «словах»? Но в том-то и дело, что для историка, по-настоящему заинтересованного в своем предмете, такого рода мелкие находки совсем не являются мелкими и играют чрезвычайно важную роль.

Или другой пример. В процессе перевода классической работы Дюркгейма «Представления индивидуальные и представления коллективные» я обнаружил три смысловые ошибки или оговорки во французском оригинальном тексте, вызванные авторским или редакторским недосмотром (на некоторые другие неточности ранее обратили внимание английские переводчики), и отметил их в комментарии к этой работе в изданном мной на русском языке сборнике текстов Дюркгейма «Социология. Ее предмет, метод, предназначение» (1995; 3-е изд. — 2008). Лет десять назад я обратил на это внимание моего французского коллеги и друга, крупнейшего знатока творчества Дюркгейма Филиппа Бенара, который признал справедливость двух из этих замечаний (я думаю все же, что и третье было верным). Опять-таки кто-то скажет: «Какая разница? Это же все мелочи!» Но для меня как историка, переводчика и в данном случае текстолога такого рода мелочи играют важнейшую роль. Для меня такого рода находки означают творчество в самом буквальном и высоком смысле слова, и я испытываю в подобных случаях настоящее творческое наслаждение. Вспоминаю в этой связи слова такого выдающегося ученого, как Иван Петрович Павлов, который подчеркивал, что в науке не бывает мелочей, и именно в связи с этим отмечал, что «из малого строится великое». Для людей, решающих в науке только «крупные» проблемы, это, конечно, непонятно. Зато такого рода ощущения всегда поймет, скажем, археолог, нашедший в раскопе какую-нибудь сережку или черепок.

Ю.М.: *Чем обусловлен выбор таких тем, как обычай и мода, — это вроде бы разные вещи?*

А.Б.: Нет, на самом деле эти явления аналитически тесно взаимосвязаны, и мой переход от изучения одного к изучению другого был естественным и логичным. Началось все случайно. Когда я был аспирантом, я как-то встретил в весьма популярной в 1960–1970-е гг. курилке ФБОНа (ныне ИНИОНа) Александра Павловича Огурцова, который тогда формировал социологический словарь. И он меня спросил, не хочу ли я написать статью в этот словарь об обычаях. Я занимался Дюркгеймом, и это меня непосредственно не касалось, но я решил написать эту статью. Начал читать

материалы по теме и впоследствии опубликовал статьи об обычае в различных словарях и в Большой советской энциклопедии. В 1973 г. я опубликовал статью об обычае с точки зрения социологии в журнале «Советская этнография» в соавторстве с Валентиной Петровной Левкович, которая написала кандидатскую диссертацию на эту тему. В этой работе обычай рассматривался как определенная форма социальной регуляции поведения, стандартизованная, воспроизводящаяся в определенных групповых и социальных структурах. У меня возникла некая аналитическая схема (впрочем, она существовала в теории достаточно давно), и мода заняла в ней определенное место. мода – это антипод обычая; вместе с тем она находится с ним в одной системе координат, мода выросла из обычая. Еще Адам Смит сопоставлял моду и обычай. В своей книге о моде я привожу различные примеры того, как различные словари, включая Лярусс XIX в. и словарь Даля, рассматривают моду как переходящий обычай. И Пушкин «обычай» использует в значении «мода» и наоборот. Это интересно, так как прослеживается историко-генетическая связь этих двух явлений. Потом они разошлись и стали антиподами, будучи в определенном смысле однопорядковыми явлениями. Тогда я впервые заинтересовался модой.

Однажды в аспирантские годы мне рассказали об одном человеке, Борисе Шрагине, который был социологом и занимался, как мне сказали, проблемами моды. Меня это очень удивило, так как сам я тогда занимался Дюркгеймом, историко-социологическими сюжетами, и мне казалось, что модой занимаются модельеры, а не социологи, и что это странный предмет для социологического анализа. И многие так считали и удивлялись впоследствии, что я занимаюсь такой странной и несерьезной темой. Помню, Алексей Владимирович Эйснер, легендарная личность, известный литератор из первой волны русской эмиграции, в 1930-е гг. адъютант Мате Залки во время Гражданской войны в Испании, спрашивал меня в конце 1970-х – начале 1980-х гг.: «Зачем вы занимаетесь такой ерундой, как мода?» Хотя я был не согласен с тем, что занимаюсь ерундой, я его прекрасно понимал и нисколько не обижался. Действительно, со стороны было непонятно, как можно заниматься такими несерьезными вещами, когда есть фундаментальные проблемы бытия. И многие другие задавали мне подобные вопросы. Приходилось объяснять, что это все не просто платья и костюмы. В течение тринадцати лет я работал во ВНИИ технической эстетики, где занимался социологией индустриального дизайна, массового потребления и моды. На эти темы я опубликовал несколько десятков работ.

Ю.М.: А к жизни Вы относитесь так же творчески, как и к работе?

А.Б.: Вряд ли можно сказать, что я отношусь к жизни творчески или, скажем, талантливо. Я не согласен с часто повторяемым утверждением, что «если человек талантлив, то он талантлив во всем» или, допустим, если он ориентирован на творчество в одной сфере, то он будет так же ориентирован и в другой. Человек, который талантлив в игре в шахматы, совсем не обязательно будет талантлив в игре в футбол или на скрипке. Это некие ходячие стереотипы, которые часто цитируются, но на самом деле они ложные. То же самое относится, например, к тезису классика о том, что «красота спасет мир». Она, может, и спасет мир, но только если под красотой понимать нечто иное, нежели собственно эстетическую категорию, например нравственную красоту. Хотя и это скорее мечта, чем предсказание. Наоборот, красота, будучи ценностью, иногда весьма дорогостоящей и вожделенной, – источник разного рода конфликтов и криминала (сколько преступлений совершается вокруг ше-

девров изобразительного искусства!). Ведь мы же помним, из-за чего погибла Троя. И этнографы хорошо знают, из-за чего чаще всего воюют бесписьменные племена — из-за красивых женщин или, точнее, тех, которые представляются им красивыми. Поймите меня правильно, я совсем не против красоты, но, по крайней мере, до сих пор она не столько спасала мир, сколько подвергала его разного рода опасностям. И пока нет никаких оснований полагать, что в будущем будет иначе.

Ю.М.: Даже Чингисхан воевал из-за красивых женщин.

А.Б.: Чингисхан — тоже человек, и ничто человеческое ему, по-видимому, было не чуждо, включая жестокость и любовь к красивым женщинам. Красота — это истинное чудо, и мы ее с полным основанием очень высоко ценим, но спасет ли она мир — вопрос весьма проблематичный.

Ю.М.: То есть Вы — сапожник без сапог?

А.Б.: Нет, просто, отвечая на Ваш вопрос, я хочу сказать, что в своей повседневной жизни я, по-моему, во многом человек явно не талантливый и не творческий. Наоборот, может быть, не все, но многое я хотел бы максимально рутинизировать в своей жизни. Можно было бы объяснить это моим уже солидным возрастом, но мне кажется, что я и в молодости стремился к этому.

Ю.М.: То есть жизнетворчеством Вы не занимаетесь?

А.Б.: Занимаюсь неизбежно, но это скорее просто строительство, а не творчество. В отношении «жизни» я не творческая личность, а скорее косная. Мне хочется некой рутины, минимального и в общем неизменного комфорта и относительно стандартного течения жизни. Я не хочу постоянно изменять свой интерьер и образ жизни, не хочу каждый день творчески зашнуровывать ботинки и надевать шапку. Хочу делать подобные вещи рефлекторно и освободить свой творческий потенциал, в той мере, в какой он у меня имеется, для чего-то более интересного и важного, с моей точки зрения. Я стремлюсь быть гармоничной, но не могу и не хочу быть всесторонне развитой личностью. И вообще, наука жить и наука, так же как искусство жить и искусство, — совершенно разные вещи. Можно преуспевать в первых и быть неудачниками в последних, и наоборот.

О ситуации в отечественной социологии

Ю.М.: В мире, наверно, мало прецедентов того, чтобы внутри Академии наук были обычные научные сотрудники и избранные, так называемый привилегированный слой — члены академии. Как Вы к этому относитесь? Многие считают это анахронизмом, феодальным рудиментом.

А.Б.: Мое мнение на этот счет совершенно определенное. Я не согласен с теми, кто считает, что Академию наук надо упразднить. Так можно, как говорится, вместе с водой выплеснуть и ребенка. Разрушать ничего не надо. Но наша академия нуждается в глубоком реформировании. В настоящее время структура под названием «Академия наук» содержит в себе два разных института: институт академиком и институт академии, состоящий из нескольких сотен научно-исследовательских учреждений. Сейчас они сосуществуют, как теперь модно говорить, «в одном флаконе», что порождает массу проблем, иногда явных, иногда скрытых. Надо эти два института разделить, с тем чтобы каждый из них существовал сам по себе, хотя и не без всевозможного взаимодействия и сотрудничества. Это разделение пойдет на пользу обоим институтам. С одной стороны, должна существовать Академия наук как корпорация

ученых, действительных членов и членов-корреспондентов этой академии. С другой — условно говоря, Российский национальный центр научных исследований, объединяющий нынешние учреждения РАН и подчиненный, скажем, Минобрнауки, которое тоже должно быть соответственно реформировано, или особому Министерству науки.

Сейчас омонимия выражения «Академия наук» приводит иногда к забавным и одновременно грустным казусам. Некоторое время назад один из академиков, проходящих в академии по ведомству социологии, публично заявил, что такие известные в России и мире социологи, как В.А. Ядов и А.Г. Здравомыслов, проработавшие, кстати, много лет в Академии наук, не представляют российскую академическую социологию. Это вызвало возмущение профессионалов-социологов, прекрасно знающих научные труды и достижения этих социологов и слабо представляющих себе, кто есть автор этого высказывания, как бы представляющий социологию академическую. Самое смешное, что академик в определенном смысле был прав: он, видимо, хотел сказать, что эти социологи, в отличие от него, не являются действительными членами РАН. Но, с другой стороны, на это можно было бы заметить, что сама эта «академическая социология» весьма слабо и неполно представляет социологию как таковую, научную социологию («академическую» в широком смысле). И так было бы даже в том случае, если бы это были звезды социологии первой величины.

Нынешняя ситуация во многом носит двусмысленный характер. Нельзя считать нормальным, чтобы 522 академика и 822 члена-корреспондента считались представителями и решали судьбу 55 тысяч научных сотрудников и 470 научных учреждений, при этом формально за них не отвечая. В каждом из этих учреждений есть своя администрация, свой директор, и отчитываться они должны непосредственно перед государством, финансирующим Академию наук. Сейчас же существует как бы два министерства, отвечающих за науку: Министерство образования и науки и Российская академия наук.

Этот феодальный институт, например, во Франции тоже существует и называется Институт Франции (Institut de France). Он подразделяется на пять академий. Эти академики собираются на свои заседания. Есть также институт, аналогичный нашей Академии наук, за вычетом института академиков: называется он «Национальный центр научных исследований» («С.N.R.S.»). Это государственная научная организация, созданная в 1939 г., подчиняющаяся Министерству науки и осуществляющая фундаментальные исследования, часто в кооперации с университетами и другими учреждениями. Там во многом такие же проблемы, как и в нашей академии: проблема финансирования, борьба за заказы и т.п. Но эта структура никак не связана и тем более не подчинена институту академиков.

Конечно, речь не может идти о том, чтобы просто копировать чужой опыт, необходимо учитывать специфику и традиции Российской академии наук. Тем не менее я думаю, что раньше или позже подобная реформа будет проведена. Лучше раньше. Одна из наших главных проблем всегда состояла и состоит в том, что давно назревшие инновации осуществляются слишком поздно, когда они становятся бесполезными или даже вредными, приобретаая разрушительные формы. Но, как гласит пословица, «дорога ложка к обеду».

Ю.М.: Оставить институт академиков... Но это приведет к их изоляции.

А.Б.: Изоляции от кого или от чего? От общества? Это совсем не обязательно. Они могут делать массу полезных вещей в качестве корпорации ученых, воплощающих фундаментальное и в определенной мере традиционное начало в науке.

Ю.М.: *Если реализовать то, что Вы предлагаете, создать две структуры – отдельно институт академиков и саму Академию наук как центр исследований, то получится, что этот институт академиков со своим старением самоликвидируется, исчезнет. Будут перевыборы. Но их не выбирают в Академии наук, а члены академии – они же сами себя выбирают.*

А.Б.: И будут продолжать это делать. Захотят – будут выбирать серьезных ученых. Не захотят и будут выбирать по вненаучным критериям (партийным, бюрократическим, клановым и т.п., как это часто происходит) – значит, тем хуже для них, для этой корпорации, поскольку они сами себя таким образом будут дискредитировать. И отношение к ним в обществе тогда будет соответствующее.

Ю.М.: *А зачем нам кормить такую армию людей? Это же огромные деньги, которые могли бы пойти на полезные цели, на молодых ученых в конечном счете, которые не идут в академию. Не считаете ли Вы так?*

А.Б.: Я считаю, что это деньги в общем не такие уж и большие. Во всяком случае, по-моему, это будет дешевле, чем сегодняшняя двусмысленная ситуация, когда две разные структуры в одном флаконе. Этот феодальный институт может быть консерватором определенных академических, пусть и архаических, но полезных научных традиций. Есть вероятность, что тогда туда будут выбирать людей, которые все-таки воплощают и представляют эту науку. И функции института академиков тогда могут быть очерчены иначе, чем сегодня. Сегодня эти функции состоят в том, чтобы принимать решения по поводу всей академической структуры. А тут они могут быть изменены и сужены. И на этих путях может быть очень много полезного. К примеру, академики могут собираться, чтобы обсуждать базовые проблемы развития науки, общества, технологии, давать свои рекомендации обществу и его различным институтам. Они могут заниматься вопросами, касающимися языка, истории, культурного наследия, издания энциклопедий. Там есть большое поле для работы. При этом они не должны быть обязательно настроены на сверхинновации, потому что в принципе такие структуры не инновационны. Это, если угодно, хранители научных традиций или культурных традиций в сфере науки. Пусть они надевают мантии, носят шпаги, как во Франции. Я думаю, что такого рода символика была бы полезна и в России.

Эта академия должна стать настоящим храмом науки, а академики – ее жрецами. Но эти жрецы не должны вследствие своей принадлежности к данному сословию вмешиваться в повседневную жизнь науки, они могут влиять на нее и на общество прежде всего своим научным (и только научным) авторитетом и рекомендациями в качестве уважаемой и независимой корпорации. Впрочем, и в этом случае никто не сможет помешать членам этой корпорации выступать в качестве активно действующих ученых на различных должностях, в том числе руководящих. Но в других структурах: научно-исследовательских учреждениях и университетах, – существующих независимо от корпорации академиков.

Ю.М.: *Как вообще, с Вашей точки зрения, распределены сегодня позиции профессионалов и непрофессионалов в социологической науке России? Каково соотношение их сил и ресурсов? Можете ли Вы указать на ведущие тенденции развития социологичес-*

кого сообщества, учитывая его формальное разделение на членов многочисленных групп и ассоциаций?

И еще сразу же несколько вопросов.

В чем состоит, с Вашей точки зрения, научное призвание социолога? Ведь мы сегодня, как и 100 лет назад, когда появилась профессиональная социология, все так же далеки от раскрытия законов, по которым или согласно которым существует и развивается общество? И современную социологию уже давно не считают единственной наукой об обществе? Что же тогда может сделать сегодняшней социолог, чтобы осуществить свое призвание?

А.Б.: Предшественники и пионеры социологической мысли надеялись, мечтали и верили, что будут открыты и изучены «неизменные естественные законы» (выражение Огюста Конта), согласно которым живет общество, с тем чтобы на этой основе сделать людей как социальных существ счастливыми. При этом они в качестве образца рассматривали ньютоновскую физику. Затем оказалось, что таких социальных законов не существует или же они сводятся к нескольким банальным истинам, ничего не говорящим ни уму ни сердцу. Противники социологии как науки на этом основании утверждали, что она вообще невозможна, особенно учитывая фактор свободы воли. Сегодняшняя серьезная социология, слава богу, не ищет таких законов и старается не использовать даже слова «закон». (Знающие люди говорят, что так же происходит и в современной физике.) Она предпочитает использовать такие понятия, как «закономерность», «принцип», «зависимость», «модель», «тип» и т.п. Если же она и использует слово «закон», то с различными уточнениями и оговорками, вроде того, что действие социальных законов носит вероятностный характер, что их действие ограничено рамками определенных мест и времен, что они носят условный характер и действуют по принципу: «Если..., то...» (т.е. если будут иметь место такие-то и такие-то условия, обстоятельства, причины, то будут иметь место такие-то и такие-то следствия) и т.п. На мой взгляд, несмотря на вполне обоснованное осторожное и скептическое отношение современной социологии к понятию «закон», до тех пор, пока она остается или стремится оставаться наукой, она не сможет обойтись без номологических высказываний различного рода, без определенной степени универсальности своих методов и результатов. С этой позицией, в частности, связано мое скептическое отношение к различным разновидностям постмодернизма, который иногда пытается, по сути отвергая социологию, утвердиться внутри нее же. Исходя из сказанного, я вижу научное призвание социологии в том, чтобы получать новое знание об обществах (я не согласен с теми социологами, которые призывают отказаться от понятия «общество», и написал об этом статью «Существует ли общество?» в журнале «Социс», 2005, № 1), социальных взаимодействиях, их источниках и следствиях.

Кроме того, важно иметь в виду, что помимо социологической мысли, стремившейся осчастливить все человечество или глобальные общества, в социологии всегда существовала и продолжает существовать другая традиция, связанная с деятельностью филантропических обществ и старавшаяся если не осчастливить, то просто помочь конкретным людям и группам людей. Социология так или иначе участвовала, участвует и должна участвовать в решении проблем человека, таких как бедность, здоровье, преступность, обустройство человеческого пространства и т.д.; список этот может быть бесконечно длинным. В этом аспекте социология полностью сохраняет свое значение, и ее призвание еще далеко не реализовано.

Для своего признания в долгосрочной перспективе социология должна рассматривать себя прежде всего не как служанку начальства, бизнеса или каких-то частных политических сил и групп, а как элемент гражданского общества, способствующий его развитию. Именно оно должно быть если не единственным, то главным адресатом деятельности социологов.

Ю.М.: И все же, несмотря на материальные затруднения и организационные распри (раскол социологического сообщества), отечественная социология продолжает существовать. И, наверно, нельзя сказать однозначно, что она влачит жалкое существование, подбирая те крошки, которые падают с барского стола. В этих условиях как бы Вы оценили общее состояние социологической науки?

Простите, выскажу несколько мыслей и добавлю вопрос. Социологическое общество России переживает сегодня не лучшие времена. Оно не консолидировано на основе научно-исследовательских программ, а скорее напоминает феодальную раздробленность, когда прежние научные феодалы (представители старшего поколения), занимающие влиятельные позиции и академические посты, еще не ушли с командных позиций и продолжают выяснять между собой отношения, а их бывшие вассалы (подчиненные), хотя и окрепли, обрели свое лицо, еще не могут занять эти позиции и предложить сообществу привлекательные программы и значимые ресурсы. Кому же из представителей сообщества принадлежит пальма первенства в продвижении своих интересов и получении всех возможных ресурсов?

Возможно, в ситуации феодальной (или полуфеодальной) раздробленности на место научных школ и объединений по интересам приходят кланы с их патриархальным устройством и выраженным делением на «своих» и «чужих». Александр Бенционович, для кого в нашем раздробленном социологическом сообществе Вы являетесь «своим» и для кого — «чужим»? Можно ли преодолеть клановость в организации и дифференциации социологического сообщества?

И еще, если можно, расскажите подробнее о ситуации раскола. Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что социологическое сообщество сегодня расколото на несколько групп или кланов. Но как бы Вы квалифицировали истоки идейных и корпоративных разногласий в сообществе социологов? На каких идейных, политических или организационных основаниях оно сегодня раздроблено, а не выступает единым фронтом в соревновании идей и программ на международной сцене?

А.Б.: Мне кажется, что деления, раскола на группы, кланы, даже формального, феодальной раздробленности сейчас тоже нет. Одни и те же люди, даже формально, нередко участвуют не только в разных вроде бы конфликтующих организациях, но даже в их руководящих органах. Феодальная или клановая раздробленность предполагает все же некоторую структурную устойчивость. Самих устойчивых групп, тем более на каких-то содержательных идейных основаниях, нет. Есть какое-то броуновское движение, в котором довольно хаотично движутся люди, средства и идеи, которым кто-то пытается иногда придать организационные формы, преследуя при этом определенные статусно-властные цели. Есть попытки нарисовать образы некоего идейного врага и таким образом достичь какого-то единства.

Прежде всего это, конечно, традиционные образы зловредных «либералов», которых так ненавидел В.И. Ленин, называя так всех, кто ему не нравился (например, Николая Бердяева, который, конечно, никакого отношения к либерализму не имел),

и «Запад» с его «тлетворным» и вечно живым влиянием. Но позитивные образы, образы «друга», настолько расплывчаты и туманны, что неясно, на чем может основываться в подобных группировках идейное единство. Существуют некие традиционалистские утопии, использующие иногда слово «социология», но имеющие к ней весьма отдаленное отношение. Есть массовые объединения, включающие самые разнообразные группы и тенденции в социологии. Есть попытки некоторых людей, обладающих определенными средствами и властью в институционально-академической структуре, занять в ней монопольное положение и вытеснить оттуда своих конкурентов. Для этого время от времени поднимаются какие-то знамена, под которые призываются люди, во-первых, зависимые от этих лидеров, во-вторых, все, кто готов под них стать, чтобы составить некую «дружину» и поддержать в данный момент претендента на монопольную власть. Собственно, к науке все это имеет весьма отдаленное отношение.

Ничего общего с *научными кланами* это, по-моему, не имеет. Последние предполагают прежде всего наличие лидера-ученого, пусть даже своего рода феодала, но ученого, обладающего не только определенными властными и материальными позициями, но и авторитетом и репутацией среди ученых. Вокруг него формируется определенный круг единомышленников и зависимых людей. Эти кланы могут находиться в состоянии борьбы или взаимного непризнания. Такая ситуация существовала, например, некоторое время назад во французской социологии, где кланы группировались в определенных организационных рамках и вокруг некоторых наиболее влиятельных фигур: Алена Турена, Раймона Будона, Пьера Бурдьё и др. По ряду признаков, в том числе по используемой терминологии, можно было довольно легко определить, из какого клана тот или иной социолог. Члены кланов участвовали в разных, не пересекающихся конференциях, симпозиумах и т.п. При этом они обладали определенной степенью автономии и со временем могли становиться вполне самостоятельными фигурами, даже не вступая в оппозицию к главе клана. Существовало и значительное множество «неприсоединившихся». Нечто подобное происходило, по-моему, и в нашей психологии 1960–1980-х гг. Но в российской социологии, на мой взгляд, происходит нечто иное, нежели борьба научных кланов и группировок. Во всяком случае, это нечто находится гораздо дальше от собственно науки.

Правда, есть и исключения. Например, существуют некоторые региональные устойчивые сообщества, обладающие определенной сплоченностью и профессиональной идеологией. Это относится, в частности, к СПАСу, организации петербургских социологов, и к некоторым другим.

Над вопросом о том, для кого я «в нашем раздробленном социологическом сообществе» являюсь своим, для кого — чужим, я, признаюсь, никогда не задумывался специально, и у меня нет на него однозначного ответа. К тому же, учитывая диффузный характер нашего сообщества, четко идентифицировать себя с какой-то одной группой довольно затруднительно, в том числе в моем случае. Надеюсь, учитывая опять-таки доминирующую тему нашего разговора, что могу считаться «своим» среди профессионалов, во всяком случае я стремлюсь к этому. Бертран Рассел говорил, что предпочел бы, чтобы его ругал его злейший враг среди философов, чем чтобы его хвалил лучший друг среди нефилософов. Я бы предпочел для себя то же самое в социологии.

И последнее в этой связи. Несмотря ни на что, я считаю, что нынешняя ситуация «раздробленности» гораздо лучше, чем «выступление единым фронтом» на «меж-

дународной сцене». Такого рода «единые фронты» советских социологов еще слишком свежи в памяти; они всегда производили удручающее или комическое впечатление на научную общественность. Несмотря на любые победные реляции, побеждать такие «фронты» в принципе не способны, потому что они играют в другую игру, которую можно назвать как угодно, но только не наукой. Поэтому стремиться к такому единству ни в коем случае не нужно. В принципе деление на группы, школы и т.п., так же как и индивидуальное разнообразие, в высшей степени желательно и необходимо, а «единые фронты» чрезвычайно опасны и, в лучшем случае, бесполезны. Вопрос, конечно, лишь в том, чтобы всякого рода групповые объединения и разделения происходили на внутринаучных основаниях.

Ю.М.: Вам известно, что отечественная социология подвержена идейным влияниям Запада. Но предпочтения социологов, их приверженность западным парадигмам и моделям складывается чаще всего стихийным путем. По Вашему мнению, что выступает основным препятствием тому, чтобы у нас сложились собственные социологические теории, а не преобладали их западные версии? Можем ли мы в отдаленном будущем претендовать на построение новых исследовательских перспектив и парадигм?

А.Б.: Вы знаете, я довольно скептически отношусь вообще к самой оппозиции «Россия — Запад», идет ли речь о социологии или о какой-то другой области знания и культуры в целом. Эта оппозиция, сконструированная некогда идеологами России и Запада и постоянно воспроизводимая, мне представляется искусственной, во многом лишённой смысла и основанной на ряде фундаментальных, хотя и устойчивых, теоретических недоразумений. Мне приходилось уже говорить и писать об этом, в частности в вышедшей в 2008 г. под моей редакцией коллективной монографии «Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ взаимодействия и динамики».

Социологам вообще, по-моему, лучше избегать использования таких туманных и вводящих в заблуждение категорий, как «Запад» и «Восток». Конечно, речь не может идти о том, чтобы запретить их использование в публицистике, политике и т.п., и полностью отказаться от них мы пока не можем. Но, когда мы говорим о науке, желательно все-таки этими терминами пользоваться как можно реже и по возможности их либо избегать, либо уточнять каждый раз, какой, собственно, Восток и какой Запад имеются в виду. Потому что они несут с собой больше тумана, чем проясняют. Часто цитируют знаменитые слова Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда...». Но классика сегодня с полным основанием можно перефразировать, например, так: «Ближний Восток есть Ближний Восток, Дальний Восток есть Дальний Восток...»

Понятие «Запад» так же туманно и многозначно, как и «Восток». Как когда-то для европейцев все китайцы были на одно лицо, так и из-за «железного занавеса» в России часто «Запад» представлялся чем-то единообразным. Но такое представление, по крайней мере, несерьезно и не имеет отношения к реальности. Вероятно, большинство убеждено в том, что Германия относится к «Западу». Но и в этой стране было мощное идейное течение, представители которого доказывали, что «Запад» с его индивидуализмом и материализмом — злейший враг Германии с ее коллективизмом и духовностью. Вам это ничего не напоминает? Лично я читаю и слышу такого рода рассуждения по десять раз на дню, с той разницей, что вместо Германии

речь в них идет о России. Но в Германии это течение кануло в Лету, о нем все давно забыли, тогда как у нас антизападничество нередко подается как новейшее слово социальной мысли.

Так вот, где этот Запад, где он кончается и где начинается Восток — дело туманное. Более плодотворно, на мой взгляд, рассматривать, сравнивать, исследовать более конкретные общества и культуры различного масштаба, выделяемые по наиболее значимым в определенном отношении критериям. Именно с ними, собственно, и имеют дело серьезные подходы в социальной и культурной антропологии, социологии и других социальных науках.

Вернемся, однако, к социологии. Признаюсь, я не понимаю, что значит «собственные социологические теории». Не-западные? Восточные? Не-западные и не-восточные? Любая наука, в том числе социология, испытывает самые разные влияния, в том числе иностранные, и иначе существовать и развиваться не может. Это относится к социологии в «западных» странах, так же как и в других. Эмиль Дюркгейм испытал, среди прочих, немецкие влияния, а Толкотт Парсонс — европейские. Нам что же, на этом основании не считать Дюркгейма французским социологом, а Парсонса — североамериканским?

В той мере, в какой социология — наука, она формулирует более или менее общезначимые, номологические суждения. Это не значит, что в социологии не существует национальных школ или традиций. Но они формируются не путем противопоставления своей национальной школы мифическим «западным», «восточным» или «южным», а во взаимодействии, взаимопроникновении и взаимообмене с различными направлениями мировой социологической мысли. И при этом общезначимые методы, выводы, результаты в них присутствуют обязательно. Иначе россияне начнут создавать свою российскую социологию, поляки — свою, греки — свою и т.д. Это будет означать конец социологии как науки. То же самое произойдет с футболом и оперным искусством, если каждая страна, вместо того чтобы развивать и совершенствовать соответствующие сферы, делая их конкурентоспособными, начнет создавать свой собственный футбол и свое собственное, ни на что не похожее, оперное искусство.

Мы, безусловно, можем претендовать на создание новых теорий и парадигм, если перейдем от наивных мечтаний о создании ни на что не похожих собственных социологических теорий к серьезной напряженной профессиональной работе. Это возможно не посредством попыток изобрести свою собственную, а точнее, «не-западную» социологию, а, как и в любом творчестве, особенно научном, во взаимодействии с социологиями разных стран и направлений. Так, собственно, и было в прошлом, когда российская социология занимала достойное место в мировой социологии, благодаря, в частности, таким выдающимся социологам, как Я.А. Новиков, Л.И. Мечников, П.А. Кропоткин, М.М. Ковалевский, Е.В. Де-Роберти, а впоследствии — Питирим Сорокин, Николай Тимашев, Георгий Гурвич и др. Все они были активно включены в мировую социологию (если кому нравится, можно называть ее западной) и благодаря этому оказали на нее существенное влияние. Если мы продолжим это прошлое отечественной социологии, то, несомненно, внесем достойный вклад в ее будущее.